

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Казанские помещики - Белинский в Петербурге - Одоевский - Кольцов - Лермонтов - Соллогуб

Прожив в Москве около двух месяцев, мы в июне 1839 года отправились в Казанскую губернию. Панаеву уже года два как досталось наследство от дальнего родственника Ал.Вас.Страхова. Наследников было много, и они никак не могли до этого времени съехаться разом, чтобы приступить к разделу.

Теперь съездить в Казань ничего не стоит, а тогда это было продолжительное и небезопасное путешествие; переправлялись через реки в дырявых барках или на паромах. Мы чуть не утонули, когда поднялась на Волге буря, и нас было понесло бог весть куда от пристани, потому что перевозчики струсили, бросили весла, руль, стали плакать и молиться. Нас спас ямщик-татарин, который не только ругал перевозчиков, заставляя их грести, но даже бил их, а сам управлял рулем.

Остановки на станциях в ожидании лошадей были продолжительные, едой надо было запастись в больших городах, иначе можно было наголодоваться. Но меня не утомляло длинное путешествие; мне, никогда не выезжавшей из Петербурга, на каждом шагу представлялось столько нового и любопытного.

От Казани надо было еще ехать 200 верст до имения, где собрались сонаследники. Мы приехали в него рано утром. Двор был громадный, и от барского дома тянулись с двух сторон бесконечные постройки для дворовых, которых было до двухсот душ. Когда въезжал наш тарантас во двор, множество дворовых выскочило смотреть на нового прибывшего наследника. На крыльце барского дома появилось несколько рослых лакеев, с всклокоченными волосами и плохо бритыми подбородками, в длиннополых сюртуках из толстого сукна травяного цвета. Я узнала потом, что наследники разрешили сшить эти сюртуки из сукна, большой запас которого нашелся у умершего помещика для обивки пола. Лакеи износили свои фраки из тонкого сукна, в которых постоянно ходили при покойном барине.

Старик в молодости путешествовал по Европе, жил долго в Англии, что тогда было редкостью между русскими помещиками. По всему было видно, что он желал подражать по возможности английским лордам. Завел конский завод английских скаковых лошадей, к обеду надевал фрак и имел большой погреб, выписывая вина из Англии, Франции и Германии.

В его теплицах было много дорогих растений, в оранжерее зрели сливы, персики, виноград и ананасы. Конечно, был оркестр из крепостных музыкантов; не знаю, хороши ли были музыканты, но инструменты были дорогие: при разделе Панаеву досталась скрипка одного старинного мастера, которую Панаев продал за четыре тысячи, причем некоторые уверяли, что он очень продешевил.

Наш ранний приезд нарушил мирный сон наследников; все они поднялись ранее обыкновенного.

Хотя Панаев был еще молодой человек сравнительно с другими наследниками, но тогда литераторов было не много, и на них смотрели в провинции, как на любопытную редкость, и побаивались их, думая, что они сейчас опишут всех в смешном виде. К тому же Панаев был петербургский житель, а это тоже имело значение в глазах помещиков, живших десятки лет безвыездно в своих деревнях, как сурки в норах.

Фамилия Панаевых отличалась литературными дарованиями. Об этом упоминается в "Хронике" С.Т.Аксакова. Даже две тетки Панаева сотрудничали в журнале "Благонамеренный" [062], дядя Панаева, Владимир Иванович, тоже был литератором, он писал стихи об аркадских пастушках. Дядя не приехал на раздел, потому что служил директором канцелярии министерства двора. Его заменял чиновник из губернии, которому за это был обещан орден,

дающий право на личное дворянство. Перед Владимиром Ивановичем Панаевым все родственники благоговели [063].

До завтрака я уже познакомилась со всеми родственниками, оказавшимися большими оригиналами. Один старик-холостяк, владелец двух тысяч душ, маленький, прыщавый, в камлотовом милиционном мундире, носил в боковом кармане часы с репу, которые каждый час играли разные пьесы [063а]. Этот старик жил султаном в своем имении и даже выстроил каменный дом в два этажа для гарема, в котором находилось несколько десятков крепостных девушек. С некоторыми из них он даже приехал на раздел [063b].

Младший его брат был добряк, гораздо моложе его и женатый. Супруга его приводила меня в ужас тем, что она проделывала со своим семилетним сыном. Она предназначала его в лейб-гусары и, чтобы приготовить к придворным балам, каждое утро на четверть часа ставила мальчика в устроенную деревянную форму, где были сделаны следки так, что ноги приходились пятка с пяткой. Мальчик, стоя в этой позиции, от скуки развлекал себя тем, что плевал в лицо и кусал руки дворовой девушке, которая обязана была держать его за руки.

Для упражнения будущего офицера, помещица приказывала созывать всех дворовых детей на лужайку в сад, а сынок, вооруженный длинным гибким прутом, бил немилосердно детей, которые плохо маршировали перед ним. Панаев, увидев такие упражнения будущего офицера, надрал ему уши и освободил дворовых детей от пытки. Сынок заорал благим матом, а маменька, вся красная, выбежала спасать его.

Тогда она придумала более мирное развлечение для сыночка. Ему давался ящик, где хранились его дареные деньги; мальчик играл золотыми и серебряными монетами. Этот семилетний мальчик заливался горькими слезами, когда родилась у него сестра.

- О чем ты плачешь? - спросила я его.

- Как же мне не плакать, - отвечал будущий лейб-гусар, - теперь я должен буду отдать из наследства седьмую часть.

Мать очень восхищалась сообразительным умом своего сыночка.

Все наследники приехали с своей дворней. Помещица привезла пять дворовых девушек, которых каждый день била и щипала при своем туалете. В бане она мылась несколько часов и в такой жаре, что девушек выносили замертво. В бане помещица подкрепляла свои силы завтраком и чаем, а дворовые девушки должны были находиться без еды. Помещице было слишком тридцать лет, но она скрывала свои годы и очень заботилась о своей красоте. Лицо у нее было очень красное, покрытое веснушками; на ночь она обкладывала лицо парным мясом, вырезав в холсте дыры для глаз, ноздрей и рта, и в этой маске ложилась, или, вернее, садилась в постель, потому что клала под голову целую массу подушек, чтобы к утру лицо ее не было так красно.

Помещица была очень ревнива; она приказала своему мужу спать в соседней комнате, а так как это была биллиардная, то ему клалась перина на биллиарде. Все-таки, опасаясь измены, ревнивая супруга сажала под биллиард на всю ночь старую дворовую женщину для того, чтобы она извещала ее немедленно, если супруг уйдет из комнаты. Раз ночью старуха чихнула под биллиардом и разбудила помещицу, которому вообразилось, что под биллиардом сидит убийца, и он поднял страшную тревогу.

Испуг помещика имел некоторое основание, потому что в Казанской губернии в этот год было сильное возбуждение крепостных крестьян против помещиков; совершались убийства помещиков из засад, а одного помещика сожгли на костре. В имении графа Блудова стояла сотня казаков для усмирения бунтующих крестьян, которые до полусмерти избили немца-управляющего. Новый управляющий иначе не выезжал в поле к работающим мужикам, как с заряженными пистолетами и в сопровождении казаков. В печать тогда подобного рода известия

не могли попасть. Было сделано строгое распоряжение тщательно скрывать эти волнения и следить за частной перепиской, чтоб печальные происшествия не могли распространяться.

Казанские помещики, знавшие за собой грехи, были перепуганы, переодевались в купеческое платье, если им приходилось ехать в дорогу; ложась спать, баррикадировали двери и окна комодами, столами и стульями; имели наготове заряженные пистолеты и ружья.

В первый день завтрака меня очень занимал оригинальный вид столовой.

Все наследники (а их было с детьми человек двадцать) завтракали и обедали вместе до раздела. За каждым стулом стоял рослый лакей с большой веткой в руках и, медленно помахивая ею над головой сидящих, отгонял мух. Лакеи злобно и мрачно поглядывали на всех наследников, зная, что теперь скоро решится их судьба - и многих навсегда оторвут от родины и родных.

В самый же день приезда я была посвящена в семейные тайны двух родственниц; каждая убеждала меня не верить в наружное расположение ко мне другой родственницы. Я не намеревалась входить в близкие отношения ни с худой чахоточной женой одного из дядей Панаева, ни с помещицей, готовившей своего сына в лейб-гусары, потому что обе они мне не понравились. Я решила удалиться от их общества, тем более, что жена другого дяди мне с первого взгляда понравилась; у нее было такое приятное, красивое лицо, она так хорошо обращалась с своими сыновьями, да и ее дети были хорошие мальчики, лет 14, 15, и мне было весело в их обществе [064].

Сначала приступили к разделу громадных сундуков, в которых хранилось много всякого хлама и разного старинного гардероба от сестер Страхова. Дикие, смешные сцены происходили при этом дележе; турецкие шали резались на пять кусков, чтобы поровну досталось наследникам, разбивали топором подносы и другое серебро, взвешивая его на весах. Несчастный посредник до хрипоты в горле урезонивал наследников, чтобы они не ссорились из за каждой тряпки и не затягивали дележа. Разделенные части должны были доставаться наследникам по жребию. При вынимании билетов на имение было ужасно смотреть на наследников: все стояли бледные, дрожащие, шептали молитвы, глаза их сверкали, следя за рукой дворового мальчика, который, обливаясь горькими слезами от испуга, вынимал билеты.

Почти все наследники были в отчаянии, что им выпал жребий не на ту деревню, которую им хотелось, и завидовали друг другу, высчитывая преимущества одной деревни перед другой.

Но самое потрясающее впечатление произвел на меня раздел дворовых.

Посредник сначала хотел разделить дворовых по семействам; но все наследники восстали против этого.

- Помилуйте, - кричал один, - мне достанутся старики да малые дети! Другой возражал:

- Благодарю покорно, у Маланьи пять дочерей и ни одного сына, нет-с, это неправильно, вдруг мне выпадет жребий на Маланью.

Порешили разделить по равной части сперва молодых дворовых мужского пола, затем взрослых девишек и, наконец, стариков и детей.

Когда настало время вынимать жребий, то вся дворня окружила барский дом, и огромная передняя переполнилась народом. Когда сделалось известным, что матери и отцы разлучены с дочерьми и сыновьями, то всюду раздались вопли, стоны, рыдания... Матери, забыв всякий страх, врывались в залу, бросались в ноги наследникам, умоляя не разлучать их с детьми. Я долго не могла прийти в себя от таких потрясающих сцен. Мне так опротивело пребывание в деревне, что я нетерпеливо ждала дня, когда мы уедем отсюда.

Панаеву удалось обменяться с дядями, отдав им рослого молодого лакея за тщедушную девочку, чтобы не разлучить семьи. Дяди подсмеивались над своим нерасчетливым молодым племянником и охотно соглашались на обмен. Одну взрослую дворовую девушку Панаев уступил даром, потому что мать умоляла его не разлучать ее с единственным детищем.

Я забыла упомянуть о разделе винного погреба: сначала разделили заграничные вина в бутылках, потом приступили к дележу домашних наливок, разлитых во множество громадных бутылей. Наливку сливали с ягод, чтобы пришлось поровну каждому наследнику. Воздух в зале, где производилась разливка, пропитался винным спиртом, от которого можно было опьянеть. У некоторых наследников лица покраснели от пробы наливок, у лакеев также лица были красны; как ни следили за ними господа, они успевали тоже попробовать наливки, которую сливали, да и винные пары действовали на них.

На другое утро произошла страшная суматоха между наследниками при известии, что не разделенные еще гуси, свиньи и утки за ночь подошли. Это известие вызвало целую бурю: кто заподозревал в отравлении дворовых, кто помещицу, которой при ее богатстве ничего не стоило потерпеть убыток, кто кривую крепостную султаншу старшего дяди, находившегося в постоянной вражде с меньшим братом. За завтраком между наследниками начались колкости, как вдруг явилась птичница с радостным известием, что одна свинья начинает дрыгать ногами, а два гуся уже встали и бродят.

Некоторые наследники выскочили из-за стола, чтобы удостовериться собственными глазами в странном явлении. Дело объяснилось просто; лакеи утащили бутылки с ягодами к себе в избу, повыжали их хорошенько, добывая наливку, а выжимки выбросили на задний двор, свиньи наелись, а птицы наклевались этих выжимок и все опьянели.

При дележе лошадей тоже произошла суматоха. Лошадей было много на заводе, надо было их всех вывести из конюшни; конюхов не хватало и потому приказано было лакеям держать лошадей в поводу. Все наследники с детьми отправились на двор завода и стояли посредине, окруженные выведенными лошадьми. Ржанье было страшное; жеребцы рвались, становясь на дыбы. У одного лакея вырвался жеребец и пустился скакать по двору. От испуга и другие лакеи бросили повод. Поднялся гвалт, наследники спасались от бегающих по воле лошадей, дамы в паническом страхе дико визжали, дети плакали, конюхи орали. По счастью, я не пошла на середину двора, а стояла на крыльце флигеля и издали видела эту суматоху. В этот день дележ лошадей не состоялся.

Наконец, мы собрались уезжать в Москву, но Панаеву надо было заехать в доставшуюся ему деревню, чтобы сделать разные распоряжения.

Мне грустно было расставаться с одной только теткой и ее сыновьями; я их очень полюбила, а со всеми другими родственниками я с удовольствием простилась навсегда.

В доставшейся Панаеву деревне не было ни барского дома, ни дворовых людей. Вид деревни был довольно благообразный, потому что лет шесть тому назад она дотла сгорела и заново обстроилась. Мы остановились в чистой избе старосты, плутоватого мужика, который успел накопить себе достаточно денег и помышлял выкупиться на волю с семейством, что вскоре и сделал.

Сначала к нам явились на поклон бабы с приношениями: медом, яйцами, курами. Они по очереди отвешивали мне низкие поклоны и, по тамошнему обычаю, клали руку на руку, чтобы поцеловать у меня руку. Я целовалась с ними в губы, не давая своей руки. Бабы пугливо смотрели на меня, а некоторые плакали, только не от умиления; матери боялись, что новая помещица, вероятно, увезет у них юных сыновей или дочерей для своей дворни.

Затем явились мужики. Панаев вышел к ним на крыльцо и держал речь. С первого его слова "господа" я подумала, что мужики ничего не поймут в этой речи, говоренной литературным слогом. Мужики молча слушали его, и я не заметила на их лицах выражения радости, что они лицезреют своего нового помещика; напротив, они бросали на Панаева

мрачные взгляды. После речи мужики отошли от избы старосты на несколько шагов и в каком-то недоумении тихо разговаривали между собой.

Я заметила, что плутоватый староста ухмылялся, когда Панаев держал речь к мужикам. Панаев в речи предложил мужикам избрать немедленно из своей среды старосту, которому они доверяли. Целый день мужики толпились на улице, о чем-то горячо толковали, но старосту не выбрали. Я послала купить орехов, пряников и вина для угощения крестьян. Панаеву пришлось взять в посредники плутоватого старосту, чтобы он торопил мужиков скорее избирать себе старосту.

Угощение привело крестьян в более приятное расположение духа, женщины пели песни около нашей избы. Старостой выбрали себе крестьяне какого-то глуповатого, забитого мужика. Видно было по всему, что они воспользовались данным им правом и нашли для себя выгодным иметь глуповатого старосту, которым могли вертеть, как им угодно. Так оно и оказалось впоследствии.

Панаев долго толковал новому старосте об его обязанностях: не притеснять крестьян и аккуратно собирать с них оброк. Проводы крестьян, когда мы уезжали, были гораздо приветливее, чем их встреча. Панаев отменил барщину, отдав все поля и угодья крестьянам, с баб запретил брать побор холстом и живностью, так что оброку мужикам приходилось платить вполтину менее, чем прежде.

Узнав о таких распоряжениях Панаева, все соседние помещики вознегодовали на него, в том числе и родственники, укоряя его, что он подрывает помещичью власть.

По возвращении в Москву, мы прожили в ней несколько недель. Младшая дочь Щепкина встретила меня счастливой улыбкой, протянув мне исхудалую свою руку. Я увидела на ее пальце обручальное кольцо.

От Белинского я слышала, что в нее был влюблен молодой человек Б... и сделал ей предложение, но она отказала ему. Во время своей поездки вместе с отцом в Казань, где она играла, она познакомилась с адъютантом губернатора, который сделал ей предложение. Она была очень счастлива, и уже было условлено, что зимой жених должен приехать в Москву, чтобы жениться на ней. Невесте стала шить приданое, как вдруг адъютант раздумал и женился на дочери богатого помещика. Это так потрясло девушку, что она заболела, и у нее развилась чахотка. Странно, что, хотя старики Щепкины были крепкого здоровья, их старший сын и младшая дочь умерли от чахотки, старшая же дочь, болезненная, у которой также были все признаки чахотки, пережила младшую сестру и вышла замуж за одного из воспитанников своего отца. Б..., узнав о поступке адъютанта, вторично предложил свою руку Щепкиной, и на этот раз предложение его было принято, хотя дни невесты были сочтены. Больная сказала мне:

- Я сделалась невестой, пока вы были в деревне. Как встану, сейчас же будет моя свадьба. Ах, какая я была дурная, тщеславная и ветреная прежде! Как я могла не любить такого хорошего человека! Как выйду за него замуж, только и буду думать об одном, чтоб он был счастлив.

Понятно, что умирающую тешили, сделав обручение. Раз я приехала к Щепкиным и застала в горьких слезах жену Михаила Семеновича; она послала меня скорей к больной, чтоб я развлекла ее.

- Все плачет и не говорит мне, чем она огорчена, - сказала мне несчастная мать.

Больная потребовала, чтобы я поклялась перед образом, что отвечу ей искренно на ее вопрос. Я исполнила ее желание.

- Утром я посмотрела на себя в зеркало, - произнесла она в слезах, - и показалась себе такой страшной. Скажите, страшная я?

Я смело могла разуверить ее, что она вовсе не страшная, потому что, несмотря на болезнь, ее исхудалое, хорошенькое личико было все-таки красиво, и сделала ей выговор за то, что она попусту расстраивает себя.

Больная радостно улыбнулась и произнесла:

- Не буду, не буду больше плакать! В самом деле, как глупо расстраивать себя, когда мне надо быть покойной, чтобы скорее встать. Позовите маму ко мне.

Когда мать вошла, больная раздражительно сказала:

- Знаешь, что я не могу видеть слез, мне делается страшно тяжело!

Мать, едва сдерживая рыдание, уверяла дочь, что она вовсе не плакала.

- Пожалуйста, будьте все веселые вокруг меня и не огорчайтесь моими капризами, да их и не будет теперь; дайте сюда мои кофты, я хочу показать, какое приданое мне шьется.

Умиряющая невеста рассматривала свое приданое и спрашивала моего совета, какое лучше сделать себе венчальное платье.

В конце октября 1839 года Белинский поехал в Петербург с нами вместе, остановился у нас и прожил недели две, пока не устроился на своей квартире [065]. Ему очень не нравилась обстановка барского дома матери Панаевой и множество крепостной прислуги [065а].

Панаев мог быть очень богатым человеком. Он наследовал прекрасное состояние от бабушки и дедушки Берниковых. Они были ему не родные, но мать Панаева была их приемная дочь; они воспитывали ее, выдали замуж и после своего скорого вдовства она жила с ними. Дедушка и бабушка до безумия любили Панаева, который за месяц до своего появления на свет потерял отца. Дедушка и бабушка оставили ему хорошее наследство; близ Петербурга ему принадлежал берег Невы версты на четыре; землю брали на аренду и строили на ней фабрики и разные другие торговые заведения. Получался хороший доход, который с каждым годом мог увеличиваться. На этой земле, кроме того, находился барский дом, полный всякого добра: мебели, белья и серебра. Панаеву достался и капитал тысяч в пятьдесят. Все это опекуна-мать прожила, окружив себя приживалками и мошенниками-управляющими, так что когда Панаев женился и пожелал сам управлять своим наследством, то оказалось, что часть земли была продана, другая заложена, и долгов было столько, что надо было скорее продать оставшуюся землю, чтобы развязаться с долгами.

Мать Панаева, после смерти дедушки, переселилась в Петербург и жила по-барски. Она так умела обойти своего слабохарактерного сына, что он жил в полном неведении, откуда берутся деньги для богатой обстановки жизни матери [066].

Чиновник-делец, выбранный матерью, умел всегда заставить Панаева, когда было нужно, подписывать бумаги на продажу или залог участков земли; да и сам Панаев с детства привык жить по-барски и не мог ограничивать себя в своих ненужных прихотях.

В эту зиму по вечерам у Панаева, на его половине, собирались литераторы. Иногда Кукольник с своими поклонниками, Сахаров, Брюлов и другие. Но чаще собирался другой, небольшой кружок: Белинский, В.П.Боткин, бывшие школьные товарищи Панаева, и МА.Бакунин, приехавший из Москвы, знакомил этот кружок с сочинениями тогдашних немецких философов.

Бакунин был замечательным диалектиком, и я заслушивалась его из своей комнаты, отделявшейся только драпировкой от кабинета.

Наружность Бакунина была эффектная, он был огромного роста, выражение лица энергичное, с густыми, длинными, темными, курчавыми волосами. Голова его напоминала голову льва.

Когда мы переехали на отдельную квартиру, то Белинский очень часто ходил обедать к нам. Мы жили у Пяти Углов, против Коммерческого Училища в доме Пшеницыной. Осенью в 1841 году у нас жил М.Н.Катков. Панаев в своих воспоминаниях писал о его житье у нас. В эту зиму у Панаева были частые и многолюдные собрания по вечерам. Между прочими являлись приехавшие в Петербург - Кольцов, Огарев и другие московские писатели. Белинский находился под впечатлением стихов Кольцова и постоянно читал их наизусть. Тогда хлопотали об издании стихотворений Кольцова. Автор дал право Белинскому печатать те стихи, которые он найдет лучшими.

На эти литературные вечера являлся и князь В.Ф.Одоевский, - в карете с ливрейным лакеем. Это был единственный литератор, всюду выезжавший с лакеем. Над ним подсмеивались, но все его любили, потому что такого отзывчивого, благодушного человека трудно было отыскать. Он был предан всей душой русской литературе и музыке. Кто бы из литераторов ни обратился к нему, он принимал в нем искреннее участие и всегда по возможности исполнял просьбы; если же ему это не удавалось, то он первый сильно огорчился и стыдился, что ничего не мог сделать. Манеры Одоевского были мягкие, он точно все спешил куда-то и со всеми был равно приветлив. Ему тогда, наверное, было лет сорок, но у него сохранились белизна и румянец, как на лице юноши.

Наружность Кольцова была совершенно иная: коренастый, небольшого роста, с круглым загорелым лицом и белокурыми волосами, зачесанными в височки. Одет он был постоянно в длинный сюртук, застегнутый наглухо, с черной косынкой, обмотанной вокруг плотной шеи. Я не выходила из своей комнаты на эти литературные собрания, да притом же была очень занята разливанием бесчисленного числа стаканов чая и распоряжениями об ужине. Раз Кольцов пил у нас чай; кроме него, были только Белинский и Катков. Кольцов был очень разговорчив и, между прочим, рассказывал, как первый раз сочинил стихи. "Я ночевал с гуртом отца в степи, ночь была темная-претемная и такая тишина, что слышался шелест травы, небо надо мною было тоже темное, высокое, с яркими мигающими звездами. Мне не спалось, я лежал и смотрел на небо. Вдруг у меня стали в голове слагаться стихи; до этого у меня постоянно вертелись отрывочные, без связи рифмы, а тут приняли определенную форму. Я вскочил на ноги в каком-то лихорадочном состоянии; чтобы удостовериться, что это не сон, я прочел свои стихи вслух. Странное я испытывал ощущение, прислушиваясь сам к своим стихам".

Кольцов рассказал, как он самоучкой выучился читать по лубочным книжкам, которые он покупал тихонько от отца. Он также комично описывал, как ехал в коляске по Воронежу с Жуковским и какое смятение произвело в городе, что с такой важной особой едет мещанин Кольцов. Жуковский тогда путешествовал по России с наследником цесаревичем Александром Николаевичем.

Я видела Лермонтова один только раз - перед его отъездом на Кавказ в кабинете моего зятя, А.А.Краевского, к которому он пришел проститься. Лермонтов предложил мне передать письмо моему брату, служившему на Кавказе. У меня остался в памяти проницательный взгляд его черных глаз.

Лермонтов школьничал в кабинете Краевского, переворошил у него на столе все бумаги, книги на полках. Он удивил меня своей живостью и веселостью и несколько не походил на тех литераторов, с которыми я познакомилась.

В Петербург приехала жена Огарева, Марья Львовна, и привезла Каткову посылку от его матери. Но она потребовала, чтобы сам Катков приехал к ней за посылкой, желая с ним познакомиться. Жена Огарева была светская барыня, и к ней надо было явиться с визитом во фраке. Но у Каткова его не имелось. Смешно было видеть Каткова во фраке и во всем остальном платье Панаева, который был очень худой, а Катков плотного сложения.

Панаев снаряжал Каткова на этот визит, как невесту: сам ему повязывал галстук и пришел в отчаяние, что Катков перед одеванием пошел в парикмахерскую у Пяти Углов и явился оттуда круто завитой и жирно напомаженный какой-то дешевой душистой помадой. Панаев

доказывал Каткову, что нельзя с такой вонючей помадой явиться в салон светской дамы, и Катков, веруя в знание светских приличий Панаева, покорился, смыл помаду с волос. Катков в узком платье не смел сделать движения, боясь, что на нем лопнет фрак. Меня удивило, что Катков так волнуется от визита к светской барыне. Он сам не раз говорил при мне, что презирает светское общество, что он студент-бурш, и подтрунивал над слабостью Панаева к франтовству и светскому обществу.

Катков возвратился домой в ужасном огорчении, с посылкой в руках, которую с досадой швырнул на пол. Его мать через какого-то знакомого просила Огареву передать сыну несколько пар белых носков своей собственной работы и три пары нижнего белья из тонкого холста; все это было завязано в узелок старого носового платка, так что можно было видеть все в нем содержащееся. При узелке было письмо на серой бумаге, сложенное треугольником и запечатанное вместо печати наперстком [067].

Катков считал себя страшно скомпрометированным в глазах светской дамы этой посылкой, но он ошибся: вскоре Огарева пригласила его к себе на вечер очень любезной запиской. Я слышала разноречивые мнения о жене Огарева: одни говорили, что она пустая, напыщенная, светская барыня, совсем неподходящая к поэтической натуре ее мужа; другие, напротив, восхищались ею, находя в ней возвышенные стремления. Катков нашел Огареву очень образованной женщиной, интересующейся наукой, литературой и музыкой.

Вскоре после этого Катков уехал за границу. Не могу определенно сказать - долго ли он там пробыл, но не более года [068]. Вернувшись из-за границы, Катков был у нас с визитом. В нем уже не было и тени прежнего студента-бурша, напротив, он имел вид величаво-глубокомысленный. Катков, пробыв в Петербурге только несколько дней, уехал в Москву. В продолжение долгой нашей жизни мы более с ним уже не встречались.

То время, о котором я вспоминаю, было очень тяжелое для литературы. Например, существовал цензор Красовский, настоящий бич литераторов; когда к нему попадали стихи или статьи, он не только калечил их, но еще делал свои примечания и затем представлял высшему начальству. Помимо тупоумия, Красовский был страшный ханжа и в каждом литераторе видел атеиста и развратника [069].

Панаев добыл примечания Красовского на одно стихотворение В.Н.Олина [069а] и всем их читал.

Вот эти примечания:

О, сладостно, клянусь, с тобою было жить,

Сливать с душой твоей все мысли, разговоры,

Улыбку уст твоих небесную допить.

Примечание Красовского: "Слишком сильно сказано! Женщина недостойна того, чтобы улыбку ее называть небесною".

И молча *на тебе* свои покоить взоры.

Примечание: "Тут есть какая-то двусмысленность".

О, дива милая! из смертных всех лишь ты

Под бурей страшною меня не покидала.

Не верила речам презренной клеветы

И поняла, чего душа моя искала.

Примечание: "Должно сказать, чего именно, ибо здесь дело идет о душе".

Что в мненьи мне людей?

Один твой нежный взгляд

Дороже для меня вниманья всей вселенной.

Примечание: "Сильно сказано; к тому ж во вселенной есть и цари, и законные власти, вниманием которых дорожить должно".

О! как бы я желал пустынных стран в тиши,

Безвестный, близ тебя к блаженству приучаться,

И кроткою твоей мелодией души

Во взоре дышащей, безмолвствуя, пленяться.

Примечание. "Таких мыслей никогда рассеивать не должно; это значит, что автор не хочет продолжать своей службы государю, для того только, чтоб быть всегда с своею любовницей. Сверх сего, к блаженству можно приучаться только близ Евангелия, а не близ женщины".

О! как бы я желал всю жизнь тебе отдать!

Примечание. "Что ж останется Богу?"

У ног твоих порой для песней лиру строить.

Примечание: "Слишком грешно и унизительно для христианина сидеть у ног женщины".

Все тайные твои желанья упреждать

И на груди моей главу твою покоить.

Примечание: "Стих чрезвычайно сладострастный".

Тебе лишь посвящать, разлуки не страшась,

Дыханье каждое и каждое мгновенье,

И сердцем близ тебя, друг милый, обновясь,

В улыбке уст твоих печалей пить забвенья.

Примечание: "Все эти мысли противны духу христианина, ибо в Евангелии сказано: "Кто любит отца своего или мать паче меня - несть меня достоин".

Мы переехали к Аничкину мосту в угловой дом, Лопатина, против дома Белосельского. Белинский тоже переехал в этот дом, заняв во дворе маленькую квартирку о двух комнатах по

черной лестнице. Его квартира выходила окнами на конюшни и навозные кучи. Солнце никогда не заглядывало в эти окна. Нанимая раньше комнату от жильцов, Белинский жаловался, что ему мешали работать. Здесь же он не слышал постоянных разговоров и шума, да и ему нужно было жить поближе к редакции "Отечественных Записок".

Белинский каждый день обедал у нас. Его очень утомляли разборы глупейших книжонок, которыми он должен был заниматься для ежемесячного обозрения. В то время библиография играла важную роль в журналах, о каждой вышедшей книжонке надо было сделать отзыв и иногда приходилось читать штук двадцать таких книжонок. Белинский приходил к обеду в нервном раздражении и говорил: "Положительно тупею! строчишь, строчишь о всякой пошлости и одуреешь!"

Белинский никуда не ходил в гости, но любил очень театр и очень волновался, если хорошую пьесу плохо разыгрывали. Утром до обеда он писал или читал серьезные книги, после обеда опять уходил работать, а вечером, часов в десять, приходил к нам играть в преферанс, к которому очень пристрастился, сильно горячась за картами. Он все приставал ко мне, чтобы я также выучилась играть в преферанс.

- Гораздо было бы лучше играть с нами в преферанс, чем все читать вашу Жорж-Занд, - твердил он.

В воспоминаниях Панаева упоминается, какого мнения был Белинский об этом авторе, пока сам не стал читать Жорж-Занд в подлиннике.

- Мы и так с вами бранимся, а за картами просто подеремся, - отвечала я. - К тому же вам вредно играть в преферанс: вы слишком волнуетесь, тогда как вам нужен отдых.

- Мои волнения за картами пустяки; вот вредное для меня волнение, как, например, сегодня я взволновался, когда мне принесли лист моей статьи, окровавленной цензором; изволь печатать изуродованную статью! От таких волнений грудь ноет, дышать трудно!

Партнерами Белинского были не литераторы, но эти личности постоянно вертелись в кружке литераторов, который собирался у Панаева.

В начале 40-х годов мы несколько лет подряд жили на даче в Павловске, и у нас после музыки, обыкновенно, собиралось много гостей. Здесь познакомилась с Соллогубом, который только что написал "Тарантас". Эта повесть имела большой успех. Если бы Соллогуб не ломался, то был бы приятным собеседником. Но часто он был невыносим, вечно корча из себя то дерптского студента, то аристократа. В светском обществе он кичился званием литератора, а в литературном - своим графством. Если его знакомили с простым смертным, он подавал ему два пальца и на другой день при встрече делал вид, что не узнает его. Отец Соллогуба тоже бывал у нас; по манерам самой утонченной вежливости это был настоящий маркиз, и когда его писатель-сын выкидывал при нем какую-нибудь невежливость, то отец в ужасе восклицал:

"Вольдемар! это верх неприличия!" Но сын не обращал внимания на замечания своего отца. Странно было видеть меньшого брата Соллогуба, скромного, простого человека, который не заимствовал ни утонченности в манерах своего отца, ни глупой кичливости аристократизма своего брата.

Бывал у нас также граф Виельгорский, полный, румяный старик, любимец императрицы Александры Феодоровны. Виельгорский был дилетант музыки, играл на виолончели и сочинял романсы; в молодости он хорошо пел. У Виельгорского постоянно бывали музыкальные вечера, и он сам участвовал в квартетах. Все знаменитые концертанты, приезжавшие давать концерты в Петербурге, сперва играли на его музыкальных вечерах, а потом уже давали публичные концерты.

Виельгорский иногда пел у нас свои романсы, а К.А. Булгаков, известный повеса того времени, садился за фортепиано вслед за ним и так искусно передразнивал его, что из другой

комнаты трудно было различить, что это поет молодой человек, а не старик. Виельгорский сам аплодировал ему и смеялся от души. Булгаков был очень даровитый человек, имел большие способности к музыке [070], рисовал отлично карандашом и акварелью и был необыкновенно остроумен; и все свои способности он загубил, ведя ненормальную жизнь. Когда он бывал у нас с Глинкой, то за чаем оба выпивали бесчисленное число рюмок коньяку, и на них это не имело никакого влияния, точно они пили воду.

Булгакову предстояла блестящая карьера; его мать была всеми уважаемая статс-дама при дворе, сестры - фрейлины, он сам прежде вращался в высшем кругу; но Булгаков предпочел аристократическим салонам кутежи, пил с утра до утра на холостых пирушках и давно был бы переведен в армию и даже разжалован в солдаты за свои разные повесничества, если бы великий князь Михаил Павлович, которого Булгаков умел всегда рассмешить каким-нибудь каламбуром, не питал к нему особенного расположения. Если Булгакова не было видно утром на Невском проспекте, а вечером в балете, то все знали, что он посажен на гауптвахту великим князем.

В прежнее время вся царская фамилия каталась по Невскому в известные часы. Государь Николай Павлович и великий князь имели зоркий глаз: замечали малейшую небрежность в форме у офицера или солдата; даже если один из крючков на воротнике не был застегнут, то строго взыскивали с провинившегося.

Булгаков в один мартовский день явился на Невском без шинели и обращал внимание всех гуляющих своим сюртуком ярко-зеленого цвета, с длинными полами. Дело в том, что вышел приказ заменить черное сукно на военных сюртуках зеленоватым и полы сделать несколько подлиннее. Булгаков первый сделал себе новую форму, но преднамеренно утрировал ее.

Великий князь, проезжая по Невскому, заметил Булгакова, подозвал его к себе и грозно велел сесть в сани, сказав:

- Я тебя увезу к государю.

Булгаков, садясь в сани, сделал вид, что зацепился, и уткнулся носом в полость, проговорив:

- Вот что значит садиться не в свои сани! Великий князь рассмеялся и ответил:

- Так пошел, садись в свои сани и прямо поезжай на гауптвахту на Сенную.

Между офицерами считалось как бы обязанностью быть влюбленным в танцовщиц, особенно в воспитанниц театральной школы. Булгаков тоже ухаживал за одной из них и, однажды, уехал с дежурства в балет.

Великий князь неожиданно тоже приехал в театр. Он знал всегда, кто из офицеров дежурит на гауптвахте, а также кто из них ухаживает за кем в балете. Увидав в креслах Булгакова, он даже не сел, а сейчас же поехал на гауптвахту, на которой должен был находиться в карауле Булгаков. Каково же было его удивление, когда, приехав на гауптвахту, он увидел Булгакова стоявшим перед ним.

- Ты был сейчас в балете... как ты очутился здесь? - с удивлением спросил его великий князь.

- Виноват, был-с, но вы сами, ваше высочество, изволили меня привезти из театра, - отвечал Булгаков.

При этом он рассказал великому князю, что догадавшись, что великий князь поехал на гауптвахту, он выбежал из театра и успел вскочить на запятки саней великого князя.

Великий князь посадил Булгакова на месяц под арест, сказав: "Ты целый месяц не будешь в балете", - но потом смиловался и наполовину убавил наказание.

Повесничеству Булгакова не было конца. Он раз при мне на музыке в Павловске держал пари с одной моей знакомой, что пройдет сейчас же мимо нее под руку с великим князем; конечно, наше общество было уверено, что Булгаков проиграет, но он выиграл. Мы видели, как Булгаков подошел к великому князю, что-то ему сказал, и великий князь дозволил ему взять себя под руку. Булгаков сознался великому князю, что он до безумия влюблен в одну особу, что если великий князь удостоит его "пройтись мимо этой особы", то он сделает его счастливейшим человеком.

В Павловске в 40-х годах не жило такое огромное количество дачников, да и великий князь, которому принадлежал тогда Павловск, сам вычеркивал фамилии сомнительных дачниц, желавших поселиться летом в Павловске; ему подавали каждый день список лиц, нанимавших дачи весной. Публики из города приезжало мало в будничные дни, так что все обычные посетители на музыке знали друг друга в лицо и по фамилии. Часто царская фамилия приезжала из Царского Села слушать музыку и сидела в экипаже за речкой или подъезжала к самому входу сада. В эти дни на музыке собиралось много аристократической публики. Великий князь жил в своем дворце, почти каждый день был на музыке и постоянно сидел с Сверчковой [071], бывшей фрейлиной. У нее была выстроена в Павловске великолепная дача, принадлежащая теперь А.А.Краевскому.

Булгаков нарисовал акварелью довольно большую картину, где в карикатуре были изображены все обычные посетители музыки, в том числе и великий князь, стоящий спиной, а возле него в уменьшенном виде изображена на цыпочках Сверчкова с ее язвительной улыбочкой. Между прочими был очень смешон гр. В.А.Соллогуб с важной гримасой и со стеклышком в глазу. Тогда только что появилась мода носить стеклышко, и Соллогуб носил его, закинув голову назад и смотря на всех величаво-презрительно. Ив.Ив.Панаев был тогда очень худ, и Булгаков сделал ему ноги не толще карандашей, а возле него поместил гр. М.Ю.Виельгорского с большим животом. Булгаков изобразил и себя в карикатуре. Все было так похоже, что можно было сейчас же узнать даже тех, кто были нарисованы стоящими спиной. Сверчковой донесли, что Булгаков нарисовал на нее карикатуру, она обиделась и потребовала уничтожения картины. Великий князь приказал Булгакову самому привезти картину к себе. Прежде чем исполнить это, Булгаков сделал перемену в картине: он придал Сверчковой ангельскую улыбочку, приделав ей прозрачные крылышки к спине, так что она походила на эльфу, собирающуюся улететь;

Булгаков знал, что Сверчкова претендует на воздушность своей фигуры. Великому князю так понравилась картинка, что он ее оставил у себя.

В 1842 году у нас часто собирались по вечерам обыкновенные и "светские" литераторы; к светским я причисляю Соллогуба, Одоевского, Соболевского и Башуцкого. Наружность Башуцкого, в прилизанном черном парике, с румяными щеками и большими серо-голубоватыми глазами, оставалась неподвижна, когда он говорил скоро и явственно, а слог его речи был так правилен, что можно было отличить все знаки препинания; он не запинаясь ни на одном слове, точно говорящий автомат [072]. Зато Соллогуб резко отличался от него своими небрежными манерами, растягиванием слов и рассеянным видом.

Белинский был очень доволен, что я иногда обрывала Соллогуба, если он с нашими не светскими гостями позволял себе быть невежливым [072a]. Странно, Соллогуб вовсе не был так глуп, чтобы не понимать, как смешно кичиться своим аристократизмом. Он, в сущности, был добрый человек; если его просили хлопотать о ком-нибудь, то он охотно брался за хлопоты и радовался в случае успеха. В характере Соллогуба была хорошая черта, - он никогда не передавал никаких сплетен, тогда как многие литераторы лишены были этого хорошего качества. Соллогуб после женитьбы ударился в другую крайность: он сделался студентом-буршем, не стыдился уже говорить о своих плохих средствах к жизни, которые прежде скрывал, и часто повторял фразу, когда касались денежных трат:

- Ну, куда нам с генералами чай пить!